

Сочинения барона Брамбеуса // Советская Россия, Москва, 1989
ISBN: 5-268-00084-5
FB2: "Gu-Gur-Gaga" <gu.gur.gaga@gmail.com>, 01 September 2010,
version 1.0
UUID: 70D9F47A-9694-4216-8031-6C158A135F79
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Осип Иванович Сенковский

Записки домового

Введите сюда краткую аннотацию

**ЗАПИСКИ ДОМОВОГО
Рукопись без начала и без
конца, найденная под
голландскою печью[1] во
время перестройки**

.....
● ● ●.....
.....
...гомеопатически[2]. Они удалились оба в другую комнату. Моя жена и сестры пошли за ними; их прекрасные лица были подернуты тем туманным беспокойством, которое составляет из движущихся стихий любви, отчаяния и надежды и носится зловещим облаком над будущностью дорогих нашему сердцу, когда в ней скрывается опасность. Вскоре услышал я глухие вопли и вздохи, которые томно отражались в моей спальне, проникая с трудом сквозь сухие и беззвучные фибры досок затворенной двери. Следственно, нет надежды! Я должен умереть аллопатически[3] и гомеопатически! Умереть по двум методам! вдвойне умереть!.. от бесконечно великих ко-

личеств лекарства и от бесконечно малых! Это ужасно! Я думаю, что с тех пор, как люди умирают от медицины, никто еще не испытывал такой печальной участи. Уверенность в скором выздоровлении, которая в чахоточном усиливается обыкновенно по мере ослабления сил, поколебалась во мне в первый раз с того времени, как лютая болезнь приковала меня к постели; но к собственному моему удивлению, страшная мысль о необходимости расстаться с жизнью в то самое мгновение, когда дни мои так весело озарились лучами восходящего счастья, не произвела большого потрясения: она ударилась в мои чувства так глухо, так невнятно, как ударяет молоточек клавиша в опущенную струну, которая только зажужжит с неприятным бряцанием, без звона и эха, и опять погрузится в немоту. Я слышал удаляющиеся шаги докторов, которых мое семейство провожало до лестницы, чтобы исторгнуть у них какое-нибудь признание, благоприятное для страдальца; но обе методы были непоколебимы и ушли, кланяясь очень учтиво, в отчаянии, что не могли более торговать моей жизнью;

когда стук двери дал мне знать об их уходе, мне даже стало легче и веселее: мне показалось, что ею затворились все хлопоты жизни, что все уже кончено, что я уж не существую. Страх смерти обитает не в душе человека, но в его физической части; он действует только до тех пор, пока преобладают материальные силы, подчиняя своим пользам духовное начало бытия; одно тело боится смерти, потому что смерть грозит ему разрушением, и как скоро болезнь и изнеможение отнимут у материи то страшное самовластие, которое люди называют голосом природы, и дух не встречает в нем более противоречия, разрушение тела делается для вас незначащим, посторонним предметом. Разобщенные колеса испорченной машины перестали издавать в моей груди тот ржавый болезненный скрип, которым выражается страдание больного; я впал в какую-то отрадную слабость, и сколько прежде страшился смерти и не мог подумать об ней без трепета, столько теперь стал к ней равнодушен. Эта внезапная перемена произошла не от ухода моих докторов, которых мудрости я никогда не верил: быстрый

упадок сил, или, точнее, жара крови, один был причиною этой каменной беззаботности, и я могу сравнить тогдашнее мое ощущение с тем, какое испытывает человек, еще нежащийся в теплой ванне и думающий, что вода уже простывает, что уже пора выйти из нее на воздух и одеваться. Одиночество, в котором я был оставлен, одно было для меня несколько тягостно: я чувствовал как бы нужду в руке, которая бы помогла мне встать из охлаждающей купальни бытия и подала платье; я ждал, но уже без нетерпения, возврата жены и сестер, чтоб проститься с ними, чтобы сказать, что я ухожу, что они не должны печалиться, что путь, который мне предстоит, нисколько не опасен, что это только перемена квартиры... Пульс уже не бился с некоторого времени: кровь, еще теплая, уже не кружила, но стояла в жилах как розовый спирт в фаренгейтовых трубках, понижаясь отвсюду к сердцу подобно термометру, вынесенному на прохладный воздух, и с последним, чуть-чуть приметным ударом сердца водворилось во всем теле удивительное спокойствие. То было восхитительное безветрие после долгой

бури. Сердце, эти единственные часы человеческой жизни, остановилось, как задержанный маятник, и время вдруг перестало для меня измеряться; я жил уже за пределами времени и в первый раз ясно понял вечность, о которой люди, что бы они ни говорили, догадываются не умом, а только инстинктом. Вечность! это — простое отсутствие всякой меры. Состояние человека невыразимо с той минуты, как плоть отказывается от дальнейшей работы на его существо и предоставляет здание ведению невещественного начала, духа, или, как его зовут часто, разума. Разум светистой волною разливается тогда по всему телу и выходит из него во все поры в виде радужного, нематериального испарения; оно образует около него эфирное облако: тело как бы завешано в атмосфере своего духа. Я тут впервые увидел мысль вне человека. Не глядя, видел я, как в зеркале, весь состав своего животного строения, весь этот удивительный механизм миллиона трубок, пружин, связей, рычагов и колес, таких тонких, так искусно сцепленных и на ту пору стоявших в бездействии; я мог бы в двух словах объяснить фи-

зиологам, которые, клянусь вам, не более вот этой печи смыслят про образ действия жизни, всю эту таинственную гидростатику многочисленных жидкостей, текучих и летучих, называемую «жизнию» и производящую различные отправления тела, от простого движения ног до трудов памяти и воображения. Никакая паровая мельница не может быть проще этого! И это в самом деле паровая мельница. Они узнают ее при смерти, а те дивные мгновения, которые называют они последними проблесками ума и которые суть только начало великолепнейшего из явлений в теле — отделения вещества от духа, материи от не-материи, того от не-того, да от нет, которых взаимное сочетание и вместе с тем противоположное стремление образует одно отдельное целое, феномен лица и его жизни, отрывок сложной машины времени, состоящей из соединения всех отдельных жизней... Дверь тихонько отворилась, и я увидел через верх передка моей кровати белое чело жены, осененное черными ее волосами в печальном беспорядке, который придавал ему особенную прелесть. Я хотел позвать ее к себе, но го-

лос не вышел из груди, и слова: «Друг мой» — вылетели из нее без звука, как бы произнесенные в совершенной пустоте; они потонули в воздухе у самых уст моих, даже не пошевелив его, не произведши в нем тех кругов, которые в таком множестве и так быстро выходят из каждого слова, упавшего на его поверхность, дрожат, расширяются, несутся вдаль и исписывают прозрачное пространство звучащими дугами. Это был уже образ того гробового беззвучия, которое начинается за пределами вещества. Я понял, что меня там ожидало... Тихими шагами, едва касаясь земли маленькой, дрожащей ножкою, подходила ко мне юная супруга. Ее бледное лицо, заплаканные глаза, руки, сложенные на груди, медленные движения и измятое платье сливались в стройную картину столь глубокого несчастья, что гранит застонал бы от подобного зрелища. Она села против меня на стуле, и ее руки, судорожно сплетенные пальцами, упали на колени, и ее глаза, иссушенные отчаянием, устремились на мое лицо с несказанным выражением любви и горести. Я видел в них прощание... Бедная женщина! ты должна

страдать одна. О, зачем я не могу теперь разделить твоей печали, как прежде разделял твое невинное блаженство! Сердце это уже не движется! Эта кровь уже не волнуется!.. Твоя печаль только отражается на ее тиши, как траур туч на зеркальном лице спящего океана, не смущая оцепеневших пучин страсти. Эта кровь, заживавшаяся пламенем от одного твоего прикосновения — в горячие волны которой ты так часто выливала всю сладость твоего существа — которая неслась вся к сердцу, как скоро твой образ наполнял его счастьем, теперь, когда тебя раздирают пополам, когда живую зарывают в землю, эта кровь даже не шелохнется! Я делал страшные усилия, чтобы возбудить в себе печаль, и никак не мог добиться до этого чувства, которое было бы тогда для меня благодеянием. Страсти мои, казалось, сзерновались около сердца и покрыли его своими холодными кристаллами... Весь мой дух скопился около юной супруги; я окружил еще недавно обожаемую женщину своей душою, которая лелеяла ее в своих объятиях, проникала во все ее чистое и красивое тело и смешивалась внутри его с ее

духом. Это не была любовь, потому что я уже не мог любить, но нечто торжественнее любви: милое женское существо, с поникнутою головкою и заломанными руками, сидело в облаке неземного света, который дивным образом усиливал ее прелести и придавал ей почти небесную красу. То было обоготворение любящей женщины. О, если б грубые земные чувства дозволили ей видеть себя в эту минуту!.. Я собрал последние силы, чтобы высвободить руку из-под одеяла и протянуть к ней. С какою страстию схватила она своими мягкими и теплыми ладонями эту руку, желтую, сухую, оглоданную хищной болезнью и уже холодную! Никогда в безумном упоении сладострастного восторга не целовала она ее с такой жадностью и таким жаром. Она зарыдала. Слезы брызнули из ее глаз и потопили руку, пригвозженную поцелуями к ее устам. Чистее этого умовения, я думаю, нет в природе: оно сильно смыть даже кровь невинного с руки убийцы... Лицо ее окрасилось румянцем; не выпуская моей руки, она подняла на меня свои большие мокрые глаза и, казалось, умоляла ими, чтобы я остался с ней на земле; и я

никогда, даже в день нашего брака, не видал ее прелестнейшею, чем в это мгновение. Две мои молоденькие сестры, вошед неприметно не знаю когда, стояли по другую сторону кровати и плакали: их лица, в которых огонь плача боролся с бледностью и усталостью от бессонных ночей, проведенных подле больного брата, были еще красивее обыкновенного. Заходящее солнце удивительным образом освещало их и всю комнату. Между тем тело мое быстро остывало по всем оконечностям; руки и ноги, совсем оледенелые, лежали подле меня как неподвижные глыбы, не принадлежащие к моему составу: там уже господствовала смерть; жизнь еще тлела в желудке, груди и голове, но и тут уже гробовой мороз, подвигаясь с низу и боков, пожирал одни части тела за другими. Отделение духа от вещества происходило с большой силой и в отдаленнейших членах уже довершалось: там, где дух совсем оставил тленное здание, частицы тела, лишены своей волшебной связи, тотчас начинали бродить, и наступало разложение. В сильном движении горести моя жена, падая на колени, дернула меня за руки, нехо-

тя, но довольно крепко. Сердце мое закачалось — тихо, без биения, — и легкая теплота неожиданно согрела пустую грудь. Я воспользовался минутным возвратом жизни, чтобы сказать доброй подруге: «Прощай, мой друг!.. Я был счастлив, очень счастлив с тобою...» Я хотел еще возблагодарить сестер за нежную привязанность, но мои уста внезапно сомкнулись, и я никак не мог раздвинуть челюстей. Сердце опять остановилось. Одно только чувство, или что-то похожее на чувство, пробудилось во мне при этом потрясении: то было сожаление. Видя эту прелестную женщину, с которою я надеялся дожить на земле до старости — вы сами знаете, как хороша моя Лиза! — этих милых девиц, которые выросли и расцвели на моих руках, этот солнечный свет, который лился из окна на стену розовыми и золотыми струями, мне стало жаль красоты и солнечного света. Расстаться с ними навсегда, никогда их не видеть, перейти в неизвестный мир, где они не нужны или, может статься, не существуют, — о, эта мысль способна отравить горечью всю сладость смертельного бесстрастия! Все остальное в

мире, право, не стоит никакого сожаления и не возбуждает его в умирающем: Но этот чудесный солнечный свет!.. Но эта красота, чудеснее самого солнца и света!.. Их одних хотел бы я унести с собою в могилу. Я уверен, что солнечное сияние создано только для того, чтобы можно было видеть красоту... Однако ж это чувство, уже последнее, было непродолжительно: жизнь качающимися кругами, которые постепенно уменьшались, переносилась в голову; я начинал уже ощущать усыпление, которое исподволь охватывало всего меня. Охлажденные части тела казались уже спящими; те, которые были еще теплы, повергались в сильную дремоту. Свет померк в моих глазах: пленительное лицо жены сперва окружилось в них венцом призматических цветов, потом стало редеть, рассеиваться, исчезало и, наконец, исчезло в темноте, прорезываемой волшебными огнями. Сетчатая ткань глаза вдруг окаменела, в ушах зазвенело, слух пресекся тоже. Я почувствовал род весьма приятного опьянения, и невыразимая сладость забвения скоро поглотила все мое существо. Запертая обмершими чувства-

ми мысль стала выражать последние свои движения ясными сновидениями, которые были чрезвычайно разнообразны и игривы, как в начале обыкновенного сна. Остаток воли боролся еще некоторое время с этим непреодолимым позывом на сон, и в промежутки пробуждения я чувствовал, что круги сосредоточивающейся жизни, о которых говорил вам, избрав своим центром голову и суживаясь постепенно, сбегаются в мозгу, качаются уже около одной светлой точки, наконец, вошли все в эту точку; в ней заключилось и все мое самоощущение, которое поминутно утопало в превозмогающей дремоте. Мне снилось, будто моя жена — оно и в самом деле так было — бросилась на меня с рыданием и начала целовать мои ноги и колена. Мне хотелось крикнуть ей: «Не там, друг мой!.. Там я уже не существую!.. Сюда! сюда! разбей мою голову и вдохни в себя эту последнюю искру жизни, которая еще сверкает в мозгу и скоро погаснет...» Но слова, произносимые в мысли, не находили для себя звуков, что нередко испытывается и во сне: все тело уже спало, то есть было мертво, и жила только од-

на голова, но и та жила полужизнию — дремотою. Сновидения, чрезвычайно странные и все более несвязные, текли с необыкновенною скоростью, и так как каждое из них, продолжаясь не более одного мгновения, кажется засыпающему действием, растянутым на большой промежуток времени, то я в эти пять минут, пока не уснул, прожил, по крайней мере, два или три месяца. Странный обман тела! Можно было бы написать целый том историй, собрав все чудные фантазии, которые наплодились в моей голове в короткое время этого засыпания. Наконец, сон преодолел меня — меня, то есть мой мозг, все, что еще от меня осталось в живых, — и я уснул самым крепким и роскошным сном, какого никогда еще не испытывал в жизни. Это была смерть. Вот и вся история. Я умер, и меня похоронили; но должен признаться, что был набитый дурак при жизни, когда боялся того, что ничуть не страшнее обыкновенного сна и, может, еще слаще его; сон вечерний приятен только тем, что это отдых после трудов одного дня, а умирая, вы засыпаете от изнеможения тела в течение всего вашего земно-

го существования, со всеми его изнурительными удовольствиями, страданиями и работами, и потому засыпаете еще лучше. Последние минуты этого оцепенения похожи на то, что ощущают турки, приняв гран опиума... Вы вздыхаете?

— Да! — сказал я моему гостю, мертвецу, — мы, домовые, и вообще все духи, по несчастью, бессмертны и никак не можем умереть.

— А вы бы хотели тоже быть подверженным смерти?

— Почему ж не хотеть? Одним лишним наслаждением в жизни более!

— Конечно, — сказал мертвец, — люди в этом отношении счастливее духов. Но вы, господа домовые, пользуетесь тоже одним бесценным преимуществом: вы можете пролезть во всякую замочную скважину и вытащить в нее все, что хотите, все, что вам нужно; вы пользуетесь без труда чужим добром, не ломая дверей и не портя замков, за что у людей строжайше наказывается. Что ни говорите, а это большое счастье! Нынче много говорят и пишут на земле о бесконечном совершенствовании человечества и предлагают

различные способы коренного преобразования обществ, чтоб достигнуть этой высокой цели; но я думаю, что человек тогда только был бы существом истинно совершенным, если б соединить в нем удовольствие умереть со способностью вытаскивать незаметно в замочные скважины все, что ему понравится — дюжину бутылок силери[4] — хорошенькую чужую жену — английскую лошадь...

В это мгновение послышался страшный шум на крыш-ке. Я приостановил моего собеседника; но шум утих, и мы опять принялись за наш интересный разговор.

— Ваши взгляды на усовершенствование человечества, — сказал я, — очень светлы и основательны; способность эта была бы тем полезнее для человечества, что она не влечет за собою никаких общественных распрь, соблазнов, неудобств: за пропажу, когда двери и замки целы, поколотят только лакеев или дворецких — и все кончено: человечество цело и спокойно.

— Жаль только, что нельзя умереть дважды, — присовокупил он. — Это было бы еще совершеннее и приятнее...

Шум на крышке, который недавно встревожил меня, имел основание. Когда мой гость произносил эти слова, огромная черная головешка, упавшая, как потом оказалось, сквозь дымовую трубу, со стуком шлепнулась оземь между камином и его решеткою. Мы оба вскочили с дивана. Я подошел к камину, взял ее в руки и хотел положить в жаровник, потому что не люблю беспорядка и вовсе не одобряю тех домовых, которые ночью переставляют стулья и вытаскивают подушки из-под голов, как кто-то вдруг схватил меня за шею и стал душить, целуя изо всей силы. Я оборонялся от этой нечаянной нежности, не зная, кому за нее быть благодарным, отворачивал голову от непрошенных поцелуев и тут только увидел, что вместо головешки держу в руках две козлиные ноги, на которых держится чье-то туловище, так неожиданно взвалившееся мне на шею со всею тяжестью своей сердечной дружбы. Я пустил эти две ноги. Передо мной явился — кто бы вы думали? — старинный друг мой, черт Бубантес! Он хохотал, как сумасшедший, и, забавляясь моим изумлением, бросился еще раз целовать меня. Мы неж-

но обняли друг друга.

— Друг мой, Чурка! — кричал Бубантес, вне себя от радости, — здоров ли, весел ли ты? Давно мы с тобой не видались!

— Давненько! — сказал я. — Чай, будет с лишком двести лет.

— Около того... Я совсем потерял тебя из виду, — сказал Бубантес, — и не знал даже, где ты обретаешься. Я думал, что ты все еще в Стокгольме...

— Нет, друг мой, я здесь, — сказал я. — С постройки этого дома я поселился в нем, вот именно здесь, на печи... Да какими судьбами попал ты сюда?

— Это длинная история, — отвечал он. — Я расскажу ее потом... Я спасался из одного места и не знал, куда укрыться... Смотрю: труба; я в нее — и вот в твоих объятиях.

— Зачем же ты прикинулся головешкой... Фу! как ты меня напугал!

— Зачем головешкой? Да так! Я, вишь, хотел упасть сюда инкогнито... Дом мне неизвестный; я боялся найти здесь ханжей, от которых теперь очень опасно нашему брату, черту: грешат вместе с вами, а при первом удоб-

ном случае сами же на вас доносят... Знаешь ли, что их опять развелось много? Я не люблю ханжей: это греш-ники, которые хотят надуть черта. Гораздо лучше иметь дело с честными грешниками. Подумай, что они стали тискать на меня статьи в моих журналах!

— А ты все еще возишься с журналами? — спросил я.

— Да, дружище! — сказал он с глубоким вздохом. — Делать нечего. Сатана приказал!.. Вот уже четвертое столетие, как я правлю должность главного черта журналистики и довел этот грех до совершенства, а от его мрачности не получил ничего, кроме щелчков в нос, в награду. Ах, если б ты знал, что за поганое ремесло! с какими людьми приходится иметь дело! Вот и нынче провел весь вечер в одном газетном вертепе, где курили и клеветали хуже, чем в аду. Я завернул туда, чтоб помочь состряпать маленький журнальный грешок: в нашем городе есть одна упавшая репутация, которая издает новую книгу; решено было поднять ее и поставить на ноги. Собралось человек тридцать ее приятелей, все из литераторов. Когда я пришел туда, они

миром подымали ее с земли, за уши, за руки, за ноги. Я присоединился к ним и взял ее за нос. Мы дружно напрягли все силы; пыхтели, охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья и кольями хотели поднять ее. Ни с места! Ну, любезнейший! ты не можешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация. В целой вселенной нет ничего тяжелее. Мы ее бросили. Тогда я, для опыта, немножко пошевелил хвостом их злобу: тут как они стали царапать и рвать все репутации, стоячие и лежащие, как понесли свой грязный вздор, в котором, кроме желчи и невежества, не было ничего годного даже для ада, — да такой вздор, что уже мне, природному черту, стало страшно и мерзко слушать — так я не знал, куда деваться! Я побежал стремглав, поджавши хвост, заткнув уши, зажмурив глаза; летел, летел, летел... и если б не эта труба... Я немножко ушиб себе бок... Да не в том дело: здоров ли ты, старый друг, Чурка? Как поживаешь... Кто этот длинный скелет? — спросил он, нагнувшись к моему уху.

— Это... покойный хозяин здешнего до-

ма, — сказал я шепотом. — Он пришел ко мне в гости с кладбища.

— Каких он правил?

— Очень почтенный, честный грешник.

— Познакомь же меня с своим хозяином, мой Чурочка. Ты всегда отличался знанием светских приличий в твоём запечье.

— С большим удовольствием, — сказал я и представил их друг другу. — Мой приятель Бубантес, главный черт журналистики! Иван Иванович, бывший читатель! Прошу быть знакомыми, полюбить друг друга и садиться.

Они поклонились и пожалы себе руки.

— Вы давно изволили скончаться? — вежливо спросил Бубантес нового своего знакомого.

— Год и две недели, — сказал он.

— Как вы находите этот свет? — продолжал любезный черт.

Мой мертвец несколько смутился, не понимая вопроса.

— Когда я говорю «этот», — быстро подхватил Бубантес, — это значит «тот». Свет, который вы при жизни называли «тем светом», называется у нас «этим», и обратно. Вы еще

не привыкли к нашей терминологии, но она очень ясна. Следственно, как вы находите этот свет, наш свет, свет духов...

— Очень приятным, — отвечал, наконец, покойный Иван Иванович.

— Я так и думал, — сказал черт с своей коварной усмешкой. — Я говорю это не из патриотизма, но многие очень просвещенные путешественники с того света, то есть с людского света, находят, что здесь гораздо отраднее и веселее.

— И я того же мнения, — сказал мертвец. — Особенно мне нравится здесь это удивительное спокойствие и бесстрашие, которыми отличается жизнь мертвецов. Нельзя сказать, чтобы и жизнь того, человеческого света не имела своих прелестей... Есть кой-какие очень приятные грехи, для которых стоит потаскать тело на своих костях известное число годов, но самое важное неудобство той жизни — это теплая кровь, кровь, которая ворочается в вас мельницею, кружится настоящим омутом, разгорячает вас при каждом движении, при каждом обстоятельстве, порождая те вспышки внутреннего жара, кото-

рые называют там страстями; которая жжет вас, душит поминутно, содержит тело в беспрерывном беспокойстве, разоряет его, начиняет болезнями... Это второй ад, быть может, еще хуже настоящего! Вообще там очень душно от теплой крови, и я ни за какое благо не согласился б воротиться туда, разве когда-нибудь, совершенствуя человечество, выдумают холодные страсти. Здесь, по крайней мере, нет крови, и ничто вас не тревожит; вы всегда наслаждаетесь ровною и отрадною прохладою ума, совершенною сухостью чувства, восхитительным отсутствием страстей...

— Здесь бы и писать беспристрастные критики! — воскликнул Бубантес, весело повернувшись трижды на одной ножке журнальным франтом. — Мои молодцы завели в одном городе, недалеко отсюда, фабрику беспристрастия, да что-то нейдет! По сию пору мы выделяем только простую брань без ума, которая худо продается.

— Да что ж вы стоите? — сказал я моим гостям. — Присядьте, пожалуйста, у меня.

— Где ж у тебя сидеть? — сказал Бубантес, оглядываясь. — Тут нет ни одного гвоздя в

стене! Если б были три гвоздика, мы уселись бы рядом.

Он прошелся по зале и, приблизившись к камину, увидел, что под черною корою перегоревшего угля мерцает еще огонь. Он разгреб верхние уголья и от нечего делать начал поправлять жар, уравнивать лопаткой, раздувать.

— Не угодно ли тебе чего-нибудь у нас отведать? — спросил я его.

— С моим удовольствием,— сказал черт, занятый своей работой.— А что у тебя есть? Нет ли английской горчицы?

— Как не быть!

Я порхнул в буфет и вытащил сквозь ключевую скважину большую банку превосходной английской горчицы, желтой как золото и крепкой как огонь. Он взял банку в одну руку, другой поднял вверх полы своего немецкого кафтана и сел в камине на горящих угольях.

— Вы позволите мне сидеть здесь, — сказал он, — это мое любимое место; а сами садитесь в кресла перед камином, и будем беседовать.

Мертвец погрузился в красные вольтеровские кресла, которые я ему придвинул, я взял стул, и мы составили тесный дружеский круг около камина, которого влияние на чистосердечие беседы и домашнее счастье известно отчасти и людям. Бубантес уверял меня однажды, что об этом измарано у них столько бумаги, что он берется топить ею в течение целого месяца тридцать тысяч бань. Я люблю этого милого и умного черта, но по временам он лжет как александрийский грек!

— Об чем вы изволили рассуждать между собою до моего прихода? — сказал он, взяв из банки ложку горчицы. — Сделайте одолжение, не церемоньтесь со мной... Продолжайте ваш разговор...

— Мы говорили о людях, — сказал я. — Об чем же говорить более? Иван Иванович описывал мне те приятные ощущения, которые человек испытывает в минуту смерти...

— Твоя горчица чудо! — прервал меня Бубантес. — Я не имел чести быть на званом обеде, который Яков II[5], король английский, стряпал для черта и для которого он набрал три самые тонкие адские блюда — лимбург-

ский сыр, жевательный табак и горчицу; но и у него не было ничего подобного. Вы говорили о смерти?

— Ты очень любезен, — сказал я, — горчица самая обыкновенная. Да: об удовольствиях смерти. И в то самое время, когда ты к нам провалился, Иван Иванович делал весьма основательное замечание, что жизнь человека была бы вдвое приятнее, если б он мог умирать дважды.

— Умирать дважды? — сказал черт, набивая себе рот горчицею. — Если человек желает умереть дважды, пусть перед смертью он ляжет спать и умрет, уже проснувшись. Уснуть или умереть — это все равно[6]. Шекспирово *perchance*[7] тут ничего не поможет. Между смертью и сном нет никакой разницы; разве та, что от смерти нельзя очнуться.

— Однако ж я читал на том свете, что когда тело погружается в сон и бездействие, тогда дух, свободный от его бремени, действует с особенною силою и светлостью...

Черт захохотал так крепко, что чуть не уронил банки и не разметал жару по всей зале.

— Ха, ха, ха! тело в бездействии, а дух в действии! Ха, ха, ха! Знаете ли, что такое вы читали? Извините, что я смеюсь! Ха, ха, ха, ха, ха! Мне нельзя не смеяться, потому что я знаю, откуда это вышло. Мой приятель черт Кода-Нера, большой шарлатан, выдумал эту историю для магнетистов[8], и они вместе надули многих. Шутка была удачная, но удить ею можно только живые головы, а не мертвецов. С такой головой, как ваша, совершенно пустой, чистой, без этого мягкого, дрянного мозга, которым завалены черепы на том свете, невозможно поверить такой бессмыслице. Как вы хотите, чтобы в непогребенном человеке дух действовал отдельно от тела или тело отдельно от духа, когда тело органическое есть слияние в данную форму вещества с веществом, материи с духом, и когда растворение их самотеснейшей связи тотчас уничтожает тело? Вы намекаете на сны? Вы, может статья, хотите представить сновидения в доказательство отдельного действия духа в теле, оцепеневшем и неподвижном? Но сновидения, сударь мой, происходят только в полубдении, во время дремоты, а не совершен-

ного сна, в минуты засыпания и пробуждения. Оттого вы их и помните! Но как скоро человек погружается в сон, полный и ровный, все умственные отправления прекращаются совершенно; дух его находится в настоящем оцепенении; он ничего не чувствует, не мыслит и не помнит: он мертв кругом, умер, и живет только относительно к не утраченной еще возможности прийти опять в полную духовно-вещественную жизнь. Сладость, которую вы чувствуете, засыпая, есть именно следствие этого погружения духа в совершенное бездействие, в смерть. Мы, черти, знаем это лучше вас. Сколько раз человек засыпает, столько раз он действительно умирает на известное время. Вы можете мне поверить. Таким образом, земное его существование составлено, как вы изволите видеть, просто из беспрестанной перемешки периодической жизни и смерти. Иначе вы не объясните сна. И заметьте, милостивые государи, что этот периодический возврат жизни и смерти соответствует периодическому появлению и исчезновению солнца на горизонте и что мысль, разум, когда нет насилия природе,

прекращается, как скоро оно заходит. Из этого вы можете выводить заключения, какие вам угодно, а я, между тем, буду есть горчицу.

— Самое простое заключение,— сказал мой мертвец, улыбаясь[9],— есть то, что я, который в течение тридцати двух лет имел каждый день удовольствие умирать и оживать, сам этого не примечая, был такой же дурак, как Мольеров дворянин из мещан, который не знал, что он весь век говорил прозою [10].

— Вы умный мертвец и делаете сравнения чрезвычайно удачные, — сказал коварно Бубантес, — но вы можете присовокупить, что когда, таким образом засыпая и просыпаясь, умирая и воскресая попеременно, вы, наконец, доспали до такого сна, во время которого потеряли всю теплоту и от которого не могли уже проснуться, тогда вы умерли окончательно, навсегда — обстоятельство, которому я обязан вашим приятным знакомством и честью беседовать с вами в этом месте у общего нашего приятеля, домового Чурки. Сон, сударь мой, есть смерть теплая, а смерть сон холодный. Все дело состоит в температуре. За-

мерзание здорового человека начинается сном. Это знают и черти, и люди. Но полно об этом. Часто ли вы бываете у нашего почтенного Чурки?

— О, нельзя сказать, чтобы часто! — воскликнул я.

— Сегодня в первый раз я решился оставить кладбище, — отвечал мертвец, — по одному неприятному случаю...

— По какому?

— У нас, извольте видеть, вышла ссора с соседкой. Меня похоронили подле какой-то сварливой бабы, старой и гадкой грешницы, скелета кривого, беззубого и самого безобразного, какой только вы можете себе представить. Пока мой гроб был цел, я не обращал на нее большого внимания, но на прошедшей неделе он развалился, и с тех пор житья мне от нее нет в земле. Эта проклятая баба — ее зовут Акулиной Викентьевной — толкает меня, бранит, щиплет, кусает и говорит, что я мешаю ей лежать спокойно, что я стеснил собою ее обиталище...

— Ну-с?

— Ну, словом, мочи нет с нею. Мы подра-

лись. Я, кажется, вышиб ей два последние зуба, которые еще оставались в верхней челюсти.

— Ну, ну!

— Да, правда, вырвал еще нижнюю челюсть и кость правой ноги и бросил их куда-то далеко в ров.

— Что ж она на это?

— Ничего. Она пошла по всем гробам отыскивать челюсть и ногу, всполошила всех покойников, перебранилась со всеми островами, которые, впрочем, давно терпеть ее не могут. Она никому не дает покоя сажень на сто вокруг.

— А вы что на это?

— А я между тем ушел и, гуляя, завернул сюда посмотреть, что делается в этом доме по моей смерти.

— Вы же говорили, что вам так нравится удивительное спокойствие нашего света? — сказал насмешливый черт.

— Конечно, говорил, — отвечал мертвец, — на каком же свете нет маленьких неприятностей? Впрочем, все суматохи происходят здесь так тихо, так хладнокровно, что их

нельзя и называть суматохами. То ли дело на том свете! Там кровь пережгла б вам все жилы; там страсти задушили б вас на месте; там уже случился б с вами удар... Я решительно предпочитаю наш мертвый мир тому и могу сказать, что если б не случайное неудобство быть иногда положенным в земле подле старой бабы, сверхъестественный свет был бы совершенство.

— Так вот такая история! — воскликнул черт. — А я, признаюсь откровенно, не имея чести вас знать, думал все это время, что вы приволакиваетесь в здешних странах за какой-нибудь красоткой того света. Вы меня извините, но это часто случается с вашей братьею. Я знавал многих мертвецов, которые просиживали по целым ночам в спальнях, подле прежних своих возлюбленных, и потихоньку прикладывали свои холодные поцелуи к их горячим спящим устам. О, между вами, господа скелеты, есть ужасные обольстители[11] прекрасного пола!.. И тут нет ничего удивительного. Привычка большое дело! Это остается в костях.

Мертвец смутился. Он не знал, что отве-

чать черту, боясь, по-видимому, чтобы Бубантес не донес на него в ад. Я решился вывести его из затруднения.

— Что греха таить, Иван Иванович! — сказал я. — Мы можем говорить здесь откровенно. Мой старый друг Бубантес не такой черт, как вы думаете. Он не в состоянии сделать подлости...

Мертвец ободрился.

— Признаться сказать, — продолжал я, — покойный Иван Иванович пришел, собственно, посмотреть на свою красивую супругу, которая спит вот через три комнаты отсюда. При жизни они обожали друг друга до беспмятства. Ему теперь некстати быть влюбленным, будучи без крови и тела, но его бедная жена по сию пору души в нем не чаает. Как она плакала об нем! как рыдала! Как нежно призывала его по имени, засыпая прошедший вечер! Я один тому свидетель!.. Больно смотреть на ее мучения, на ее отчаяние, на ее безнадежную любовь.

Мертвец был растроган до глубины костей. Он сидел неподвижно, с поникнутой головой, сложив руки на груди.

— Когда покойный Иван Иванович пришел сюда, как бы исторгнутый из земли ее любящим, магнитным сердцем, как бы невольно привлеченный им сюда, мы пошли к ней в спальню и нашли ее в самом умильном положении. Она спала, обняв белыми и полными руками подушку, смоченную потоком слез, на которой покоилась ее прелестная головка; обнаженные плечи и часть груди имели гладкость, блеск и молочную прозрачность алебаstra; пурпуровые губки были полураскрыты и обнаруживали два ряда прекрасных перловых зубов; в лилиях лица играл огонь розового цвета, удивительной чистоты и нежности; она была очаровательна, как дух высоких сфер, и, казалось, пламенно жала эту подушку к своей груди...

— Вдовьи нравы, — сказал злой Бубантес вполголоса, с хитрою усмешкой.

— Она, средь своей, как ты говоришь, теплой смерти, так страстно и так чисто любила мужа, похищенного у ней смертью холодной, что мне стало досадно быть только духом подле такого пленительного тела, а покойный Иван Иванович не выдержал и поцело-

вал ее в самый ротик — да так, что его мертвые зубы стукнули в ее зубки!..

Бубантес коварно мигнул покойнику.

— Э!.. каковы наши мертвецы! Что, если б хорошенькие женщины знали, как вы, господа, лобызаете их по ночам?.. Ведь это ужас?

— Ах, почтеннейший, — воскликнул мертвец, — она такая добрая! такая прекрасная! Это самая удивительная женщина, какая только существует под солнцем! За один ее поцелуй можно отдать целое кладбище, а для того, чтобы поцеловать ее, стоит, даю вам слово, сделать путешествие в мир вещественный.

— И притом, такая добродетельная! — примолвил я. — Вот уж, любезный Бубантес, посмотрели б мы, как бы ее-то ввел ты во искушение!

— За себя я не отвечаю, — скромно сказал он, — я не ловок на эти дела и притом никогда не занимался женскою частью; но, уверяю тебя, у нас есть черти, которые соблазнят всякую женщину, хоть бы она вылита была вся из добродетели. Я видал удивительные примеры.

— Из добродетели, так! — возразил покойный муж, — но не из любви. Когда женщина вылита вся из чистой любви к одному мужчине, когда эта любовь сделалась ею жизнью, стихией, которою она дышит, второю душой ее, тут уж чертям нет поживы...

— Продолжайте, — сказал равнодушно Бубантес, становя банку с горчицей наземь.

Он снял с головы свой высокий остроконечный колпак и начал готовить из него род мешка.

— Любовь в женщине делает чудеса, — продолжал мертвец. — Эта непонятная сила превращает существо слабое в самое сильное волею, в самое торжественное благородством чувствований. Тогда предмет ее любви теряет для нее свои земные формы, становится идеалом, господствует над нею вблизи и издали; пространства для нее исчезают; самое время бессильно, и она живет в своем возлюбленном, разделен ли он с нею расстоянием, жив ли или зарыт в могиле...

— Ну, — сказал черт, занятый весь своим мешком, который он комкал на коленях, не глядя на нас.

— Я уверен, — сказал мертвец, — что эта таинственная сила, которая так же крепко связывает два существа между собою, как дух связывает частицы материи в живом теле и образует из них одно правильное целое, не уничтожается смертью одного из двух существ; что она продолжает соединять тело одного с прахом другого даже сквозь пласт земли, который их разделяет, что она разрушается только при окончательном разрушении обоих тел, и тут еще она должна жить в душах их: улетев в дальние пространства, их души, без сомнения, отыскивают друг друга и сливаются там в одну душу той же любовью.

— Ах, какой же вы читатель! — закричал черт покойнику, смеясь от чистого сердца. — Вы настоящий читатель! Подите-ка сюда! Чурка, поди и ты сюда! Смотрите мне в горсть, когда ее раскрою.

Мы подошли к нему. Он погрузил руку в мешок, сделанный из колпака, собрал что-то внутри, вынул кулак и, раскрывая его, сказал:

— Смотрите!.. Вот любовь.

На черной его ладони взвилось пламя, чрезвычайно тонкое, прозрачное, летучее,

удивительной красоты: в одно мгновение оно переменяло все цвета, не останавливаясь ни на одном, что придавало ему самый блистательный и нежный отлив, которого ни с чем сравнить невозможно.

— Как! это любовь? — вскричал изумленный мертвец, хватая своей костяной лапой это чудесное пламя, которое в тот же миг исчезло.

— Самая чистая любовь, — сказал черт, улыбаясь и посматривая ему в глазные впадины с любопытством. — Что, хороша штука?.. Мой колпак, сударь, лучшая химическая реторта в мире. Вы можете быть уверены, что это любовь: я выжал ее из воздуха и очистил от всех посторонних газов. Любовь, милостивые государи, разлита в воздухе.

Бубантес надел колпак на голову и встал с жаровника. Мы начали ходить по зале и рассуждать об этом пламени. Мертвецу никак не верилось, чтобы это была настоящая любовь, но черт говорил так убедительно, столько клялся своим хвостом, что, наконец, тот согласился с ним в возможности отделять это роскошное чувство от воздуха и продавать

его в бутылках. Они рассчитали все прибыли от подобной фабрикации — покойный Иван Иванович был при жизни большой спекулянт — и находили одно только неудобство в этой новой отрасли народной промышленности, что многие станут подделывать изделие и продавать ложную любовь в таких же бутылках, тем более что и теперь, без перегонки воздуха, поддельная любовь составляет весьма важную статью внутренней торговли, хотя и не показывается в статистических таблицах.

Бубантес был восхитителен во время этого рассуждения: он сыпал остротами, шутил, говорил так добродушно, что тот, кто бы его не знал, никогда б не предполагал в нем черта. Впрочем, надобно отдать справедливость чертям: между ними есть очень любезные малые. Иван Иванович весьма с ним подружился. Он стал расспрашивать его, каким образом действует это миленькое летучее пламя на людей, так что эти плуты обожают друг друга.

— Вы знаете, что такое «поляризация»? — сказал черт.

— Поляризация-с? — воскликнул покой-

ник. — Да, знаю, поляризация. Я читал об ней. Но вы можете говорить так точно, как будто бы я ничего не знал.

— Здешние мертвецы набитые невежды, — сказал мне на ухо Бубантес. — Вы знаете, — продолжал он громко, — что в природе есть теплота, магнитность, свет, электричество, то есть вы знаете, что ничего этого нет в природе, а есть одно вещество, чрезвычайно тонкое, чрезвычайно летучее, которое разлито везде и проникает все тела, даже самые плотные; для которого алмаз и золото то же, что губка для воды и воздуха, и которого сам черт не разгадает, а домовый, мертвец и человек и подавно. Оно то производит ощущение тепла, и тогда человек называет его теплою; то вылетает из облака в виде громовой молнии или из натираемого стекла в виде серной искры, и тогда получает у людей имя электричества; то направляет один конец железной иглы к северу, а другой к югу, и тогда величают его магнитностью; то, наконец, поражает глаз своим блеском и называется светом. Оно темно и светисто, паляще и морозно, животворно и убийственно. Незримое, ода-

ренное столь различными свойствами, это хамелеоническое вещество обнаруживается каждый раз в другом образе и поражает бедного человека столькими противоположными явлениями, что он, будучи не в силах связать их своей дрянной логикой, принужден был разделить его на четыре разные вещества, которым присвоил четыре ряда примененных им феноменов, более или менее сходных между собою, и придумал для каждого ряда особую теорию. Мой приятель, черт Кода-Нера, уже три столетия морочит ученых этим веществом, диктуя им самые странные теории для того, чтобы их мучить, бесить, ссорить между собою и доводить до того, чтобы они друг друга называли ослами. Это единственный доход Сатаны от ученых. С них нечего взять более. Я завел для них кой-какие журналы. Теперь он сыграл с ними новую штуку: когда они нагородили систем обо всем этом, написали тьму книг о магнитности и уверились, что она вещество совершенно особое и самостоятельное, он вдруг выкинул им магнитную искру, которая точь-в-точь искра электрическая. Они перессорились в моих

журналах, но этот плут убедил их заключить перемирие на том условии, чтобы оба вещества, впредь до распоряжения, соединились в одно под сложным именем электромагнитности. Со временем он намерен подсунуть им другое, еще страннейшее название — свето-тепло-электро-магнитности, и все-таки они не будут знать, что это за вещество, и не поймут его руками; а я вам, друзья мои, показал его вот на этой ладони. Согласитесь, что оно прелестно, и поздравьте себя с тем, что вы не люди: по крайней мере, вы могли его видеть. Так как для него нет имени, то назовите его как угодно, хоть электромагнитностью. Для меня все равно. Но вот в чем еще дело: не подлежит сомнению, что у каждой палки есть два конца и что один из них противоположен другому, что один *не то*, что другой, хотя палка все одна и та же. Все, что ни существует в мире, составлено из таких же двух противоположностей: дню противоположна ночь, свету темнота, теплу холод, движению бездействие, бдению сон, жизни смерть, да — нет: я мог бы насчитать вам три тысячи триста девяносто девять таких проти-

воположностей и довести, вас, наконец, до последней противоположности, выше которой уже ничего нет, — материи и духа. Как скоро есть материя, есть и дух: я думаю, что это ясно. То самое противопоставление постоянно «да» и «нет» обнаруживается и в умственном мире: вы имеете там надежду и отчаяние, жестокость и кротость, сострадание и презрение, смирение и гордость, вражду и дружбу, любовь и ненависть, и прочая, и прочая. Вы согласитесь, что хотя любовь и ненависть суть одно и то же чувство, хотя любовь составляет один конец страсти, а ненависть другой, действия и свойства их так противны, что их принимают обыкновенно за две различные вещи. Вещество, о котором я вам докладывал, это прекрасное, летучее и незримое пламя, эта электромагнитность имеет тоже свои две противоположности, свое «да» и свое «нет». Когда вы взволнуете его в стеклянном пруте посредством трения, оно тотчас разделяется на два противные свойства и в одном конце прута притягивает к нему разные легкие тела, в другом их отталкивает. Первое свойство, — извини, любезный Чур-

ка, — шепнул мне Бубантес, — что я толкую вещи, давно тебе известные: этот мертвец ничего не понимает! — первое свойство черт Когда-Нера присоветовал ученым назвать электричеством положительным, а второе электричеством отрицательным и запутал их словами до того, что они верят в два электричества; но вы, как умный мертвец, вы видите, что это та же история тепла и холода, любви и ненависти. Та-кому разделению свойств дали имя поляризации электричества. Эти два противные свойства одного и того же вещества часто избирают своим обиталищем даже два отдельные тела: одно облако, например, электризуется положительно, а другое отрицательно. Когда опять взволнуете это вещество в полоске железа, натирая ее ключом от середины сперва к одному концу, а потом от середины же к другому, оно устремляет один конец полоски к северу, а другой к югу. Это магнитная стрелка. Северный конец ее зовут положительным, южный отрицательным, а самое явление поляризацией. Возьмите ж теперь две такие стрелки и сблизьте их между собою: конец положительный одной стрелки

оттолкнет от себя положительный конец другой; две отрицательные стрелки тоже будут удаляться друг от друга; но стрелка положительная с концом отрицательным тотчас сцепятся и поцелуются. Вот любовь! Назовите теперь положительные концы мужскими, а отрицательные женскими, и все вам объяснится: полы одинаковые отталкиваются, полы различные стремятся друг к другу. Это — любовь в железе. Она проявляется таким же образом и в некоторых других металлах и камнях. Она существует и между двумя облаками, в которых скопились два противные свойства электричества, носящегося в воздухе. Она сгибает в лесу две финиковые пальмы, одну к другой, самца к самке, из которых первый всегда обнаруживает электромагнитность положительную, а вторая отрицательную. То же происходит и в животных, то же и в людях. Около эпохи совершеннолетия молодой человек и девица начинают вбирать в себя из воздуха летучее вещество и электризоваться, один положительно, а другая отрицательно, в южных странах сильнее, а в северных слабее, и даже в одном и том же месте бо-

лее и менее, смотря по сложению тела, здоровью, степени восприимчивости, времени года и множеству других обстоятельств. Когда они достаточно наэлектризованы, поставьте их лицом одного к другому: пусть они взглянут друг на друга; лишь только луч зрения приведет в сообщение их электричества, с той минуты они влюблены, они полетят друг к другу, как два облака, и будет гром, молния, удар и дождь. Тут и черта не надобно. Вот почему я никогда не любил этой части: она слишком механическая! Вы не влюблялись в малолетнюю девочку, потому что она еще недостаточно наэлектризована тем чудным веществом, которое я выжал для вас из воздуха в моем колпаке. Вы отвращались от бабы, потому что и эпохе старости человек разряжается и теряет почти всю свою электромагнитность. Месяц любви для всей природы тот самый, в который наиболее этого вещества в воздухе. Мой приятель Аддисон[12] сказывал мне, что очень милая и скромная леди признавалась ему, что она беретя быть равнодушною к своему мужу круглый год, кроме мая месяца, в котором она не отвечает...

Бубантес вдруг остановился. Мы проходили тогда мимо окон залы. Он подбежал к окну, как будто заметил на улице что-то необыкновенное, посмотрел и снова воротился к нам, заложив назад руки.

— Так-то, сударь мой! — сказал он. — Теперь вы будете в состоянии растолковать всему кладбищу, что такое любовь. Когда бы вы умели добывать это вещество из воздуха и знали еще способ хорошо соединять его с телом, вам самим, почтеннейший Иван Иванович, не трудно было бы... заставить Монблан [13]... влюбиться до безумия в Этну[14]...

Он бросился к другому окну, на которое его беспокойные глаза были уже устремлены при последних словах, и начал пристально всматриваться в улицу.

— Господа! — сказал он, отскочив от окна, — подождите меня здесь, я сейчас буду назад. Мне надобно сказать несколько слов одному человеку... Иван Иванович, не уходите. Не выпускай его, Чурка! — сказал он тихо, перегибаясь к моему уху, и исчез.

Внезапное его удаление немножко нас удивило, но мне было известно, что у него

всегда пропасть дел, и я старался успокоить моего гостя уверением, что наш собеседник скоро к нам воротится. Я спрашивал моего собеседника, как он находит этого черта. Ответ не мог быть сомнителен. Иван Иванович был от него в восхищении и признался, что он никогда не думал, чтобы черти были такие любезные в обществе; что на том свете есть много людей, которые не стоят его хвоста. Одно, что ему не слишком нравилось в Бубантесе, были длинные и острые когти: он полагал, что они не совсем безопасны для его приятелей и для книг, которые он читает, и должны мешать ему при сочинении статей; я объяснил, что он тогда надевает шелковые перчатки.

Но надобно сказать, что было причиною отлучки Бубантеса. Проходя с нами мимо окон, он взглянул мельком на улицу и увидел, что по тротуару, против нашего дома, какой-то мертвец идет с кладбища в город. Вид этого скелета поразил его своей необычностью: он путешествовал на одной ноге и в руке нес свою нижнюю челюсть. Черт мигом догадался, что это должна быть Акулина Викен-

тьевна, соседка нашего покойника, которой он оторвал ногу и челюсть. Всегда готовый к проказам, Бубантес побежал к ней. Снимая свой колпак и кланяясь ей весьма учтиво, он остановил ее на тротуаре, отрекомендовался и завел разговор, чтобы узнать, куда она идет. Акулина Викентьевна призналась ему, что она искала везде своего злодея, Ивана Ивановича, и что, не найдя его ни на кладбище, ни в окрестностях, отправилась со скуки в город с намерением ущипнуть бывшую свою горничную, которая спала в одном доме недалеко отсюда. Тонкому и вкрадчивому черту нетрудно было убедить ее отказаться от цели этой прогулки: он стал упрашивать ее, чтобы она вернула к нам, уверяя, что введет ее в очень приятное общество, и с адским искусством стараясь проведать ее покойные страсти, которые, несмотря на утверждения Ивана Ивановича, кажется, не совсем угасают вместе с жизнью в этих господах смертных. Мой приятель узнал, что его старуха при жизни страх любила бостон[15]. Я думаю, что бостон тоже остается в костях! Он обещал ей составить партию и сдавать всегда десять в сю-

рах: старуха, которая сперва отговаривалась приличиями, была обезоружена и согласилась на его предложение.

Ничего этого не зная, мы спокойно расхаживали с Иваном Ивановичем по зале и говорили о домашних делах — он расспрашивал меня о дневных занятиях своей молоденькой вдовы — я блестящими красками живописал ему ее добродетели, — как вдруг дверь отворяется настежь и являются Бубантес с своим изломанным женским скелетом, который начинает жеманно нам кланяться и приседает на одной ноге почти до самого пола. Иван Иванович тотчас узнал свою соседку и укрылся за дверью гостиной. Я, ничего не подозревая, старался принять ее как можно вежливее, но Бубантес подбежал ко мне и шепнул: «Чурка! зажигай свечи, лампы. Иллюминация! Бал!.. Мой друг, я даю у себя вечер. Подавай карты!.. Да проворнее же, любезнейший! Скоро станут звонить к заутрени». Я без памяти бросился исполнять его приказание, желая угодить старинному приятелю, хотя и не понимал его затеи и даже, собирая по ящичкам огарки, украденные лакеями у ключницы,

немножко дивился этим преисподним манерам, которые позволили ему распоряжаться в чужом доме, как в своем собственном болоте. Но огарки были налеплены по всем окнам и карнизам, лампы налиты водкою, за неотысканием масла, ломберный столик поставлен, все изготовлено, зажжено и устроено в одно мгновение ока. Комната запылала великолепным освещением. Я намекнул Бубантесу, что мы встревожим всю улицу, кто-нибудь увидит свет, да и нас в покоях: ведь это выходит видение! «Ничего! — отвечал черт, — пусть их смотрят. Кто теперь верит в видения!»

Не знаю каким образом, но между тем как я занят был приготовлениями, Акулина Викентьевна увидела своего кладбищенского соседа за дверью. Я не берусь описывать шума, который раздался в зале вслед за открытием: это превосходит все риторики *сего* и *того* света.

— Ах ты разбойник! — закричала наша гостья, с яростью бросаясь на бедного покойника, — так ты здесь? Научу я тебя вежливости! Я тебе докажу, голубчик, как должно обращаться с дамами...

Мои читатели уже знают, что нижняя челюсть была у ней оторвана и что она носила ее в руке. Это, разумеется, поставляло ее в невозможность говорить. Чтобы произнести приветствие, которым она встретила Ивана Ивановича, она принуждена была взять эту нижнюю челюсть за концы обеими руками, приставить ее к верхней и поддерживать у отверстий ушей. Когда она говорила или, точнее, редела, ее челюсти раздвигались так широко, как у крокодила, и смыкались так быстро, как ножницы в руке портного, производя при каждом слове страшное хлопанье костями и стук одних о другие, сухой, скрежетный, пронзительный. Прибавьте еще при всяком движении трескучий стук костей остальной части остова, дряхлого, разбитого, не связанного по суставам. Ужаснее и отвратительнее этого я ничего не запомню по нашему сверхъестественному миру.

— Ты мерзавец! ты мошенник, грубиян! — вопила она и вдруг, отняв от головы свою подвижную челюсть, замахнулась бить ею Ивана Ивановича.

Черт прыгнул с своего места и стал между

ними. Удар разразился на рогах Бубантеса. Мой покойный гость был спасен. Надобно признаться, что эти черти — благовоспитаны как нельзя лучше! Я не хочу унижать моих соплеменников — но из наших домовых никто б не догадался этого сделать.

— Сударыня, — сказал он, сладко улыбаясь сердитой старухе, — не делайте шуму в этом доме. Здесь спят люди. Вы знаете приличия. Иван Иванович мой старинный приятель. Мы с ним были знакомы и дружны еще на том свете. Вы объяснитесь на кладбище. Вы меня чувствительно обяжете, если отложите свои недовольствия до другого времени...

Говоря это, Бубантес нарочно поправлял рукою свой галстух, сделанный из какой-то старой газеты. Акулина Викентьевна заметила его когти и тотчас стала смирна, как кошка.

— Я только для вас это делаю, господин Бубантес, — сказала она, приставляя опять свою челюсть к голове, — что удерживаюсь от негодования на этого грубияна. Представьте, что он со мной сделал...

И она пустилась рассказывать все обстоя-

тельства своей ссоры. Бубантес посадил их на диване, сам сел посередине, слушал с вежливым вниманием их взаимные огорчения и мирил их своими чертовскими шутками. Я между тем собирал в лакейской старые, засаленные карты; трех тузов не отыскалось: да для мертвецов не нужно полной колоды! Когда воротился я в залу, на диване сидели только два скелета; черт стряпал в углу что-то в своем колпаке; мертвецы все еще ссорились; он переговаривался с ними по временам отрывистыми фразами и, казалось, был очень занят этой работой.

— Что это ты сочиняешь, Бубантес? — спросил я тихо.

— Ничего, — сказал он, продолжая свое дело, — курс любви теоретической и практической.

— Практической?

— Да!.. Или опытной. Это все равно. Я вам изложил прежде теорию любви, а вот теперь начинаются опыты.

Я подсмотрел, что он очищает от воздуха и набивает в свой колпак это красное, летучее пламя, которое, по его словам, можно назы-

вать электромагнитностью или как угодно. Любопытство мое возросло до высочайшей степени. Я спрашивал, что он намерен делать, но проказник не отвечал ни слова, надел осторожно колпак на голову и спросил, где карты. Я отдал ему неполную колоду. Бубантес отбросил еще все трефы, избрал четыре карты и предложил их мертвецам и мне. Мы сели играть, но я заметил, что, усаживая кладбищных врагов по местам, он вертится около них, заводит с ними пустые разговоры, берет их за руки, шепчет им в уши и часто поправляет свой колпак. Знаете ли, что он сделал? Он в это время, с удивительным проворством, напускал им в кости этого пламени из колпака! Наэлектризовав одного мертвеца положительно, а другого отрицательно, он мигнул мне коварно и сел сдавать карты. Акулина Викентьевна отняла челюсть, с помощью которой все это время перебаранивалась с моим покойным хозяином, и положила ее при себе на столике. Черт, по условию, подобрал ей огромную игру. Она развеселилась. Напрасно было бы означать в этих записках все движения непостоянного счастья в на-

шем незабвенном бостоне, тем более что я никогда не помню конченных игор: тут было нечто любопытнее карт. Акулина Викентьевна объявила восемь в сюрсах[16]; Иван Иванович, к крайнему ее изумлению, сказал: «Вист!»[17] И они посмотрели друг на друга: во впадинах их глаз блеснуло то самое прелестное пламя, которого Бубантес налил в их холодные кости. Черт улыбнулся.

Игра началась, но мы с чертом более заняты были наблюдением, чем картами. Мертвецы стали вздыхать. Акулина Викентьевна страстно посматривала на бывшего своего злодея, который в самом деле мог бы понравиться всякой покойнице: он был, что называется, прекрасный скелет — большой — кости толстые и белые, как снег — ни одного изломанного ребра — осанка благородная и приветливая. Но я, право, не понимал, что такое находит Иван Иванович в желтом, перегнившем, изувеченном, одноногом остове этой бабы: он совершенно забыл карты и глядел только на нее! Мы с Бубантесом непрерывно должны были напоминать ему игру, а черт позволял себе даже отпускать колкие

эпиграммы насчет его рассеянности, за которые он вовсе не сердился. Но такова, видно, сила этой волшебной электромагнитности!

Между тем как я сдавал карты, Иван Иванович, который давно не сводил глаз с челюсти своей противницы, решился завести с нею разговор.

— С позволения вашего, сударыня!

Она поклонилась.

Он взял со стола эту гадкую кость, эту челюсть, желтую, грязную и почти без зубов, и начал осматривать ее с любопытством, все более и более придвигая ее к глазам и к носу. Мы с Бубантесом увидели, что он неприметно поцеловал ее, и едва не расхохотались.

О электромагнитность!!. или как бишь называть ее.

Мертвец, чтоб скрыть этот проблеск могильной нежности, повернул челюсть еще раз за два или три, осмотрел со всех сторон и равнодушно положил на место. Мертвечиха приятно ему поклонилась.

Бостон продолжался. В половине одной игры Бубантес вдруг стал рассказывать анекдоты из соблазнительной летописи города, об-

ращаясь преимущественно к Акулине Викентьевне. Я видел, что он старается завлечь ее в разговор и, если можно, подвинуть на какой-нибудь рассказ о прежних ее приятельницах и знакомых. Он действительно успел в этом. Акулина Викентьевна положила карты, взяла свою челюсть и пустилась злословить, как живая. Иван Иванович весь превратился в слух. Черту только этого и хотелось: он сообразил, что пока она будет говорить, держа обеими руками необходимое орудие своего красноречия, ей нельзя будет взять карты со стола, ни думать об игре. Когда они совершенно занялись друг другом, он потихоньку встал, мигнул мне, чтобы я сделал то же, и мы отошли в сторону.

— Ну, брат, — сказал я ему, — ты большой искусник!

— Что прикажешь делать, почтеннейший! — отвечал он, притворяясь бедняком, — наше дело чертовское: не наплутуешь, так и жить не из чего. Начало не дурно. Но уж теперь надобно заварить кашу. По крайней мере, совесть будет чиста: я недаром был в этом доме. Скажи, пожалуй, кто бывает у вдовы

этого читателя?

— Никто. Она живет совершенно затворницей.

— Однако ж?

— Право, никто, кроме прежнего его друга, Аграфова, который живет в этом же доме с другого подъезда.

— Хорошо.

Он расспросил меня подробно о расположении его квартиры и порхнул в камин, приказав мне сесть опять на место и поддерживать разговор мертвецов.

Я нашел своих гостей в той степени дружеского расположения, на которой начинаются уже сладкие речи и лесть. Акулина Викентьевна рассказывала, Иван Иванович часто прерывал ее комплиментами, которым она мертвецки улыбалась. Они очевидно любили друг друга, и я должен был играть при них печальную роль свидетеля чужих нежностей. Но это участь домовых! В свою жизнь я довольно нагляделся этого по ночам.

Через минуту Бубантес воротился, но уже не дымовую трубой, а в дверь, ведущую из гостиной в залу. Он подал мне знак, и мы уда-

лились к камину.

— Друг мой, Чурочка, — сказал он с восторгом, — будет славная история! Я наэлектризовал Аграфова и твою вдову. Ты не сказал мне, что он женат! Я нашел его спящим подле почтенной своей супруги. Он и она разряжены были совершенно: в них не было ни одной искры этого летучего пламени; они, видно, давно уже не любят друг друга. Да это всегда так бывает между супругами! Я порядком надушил его электромагнитностью. Вашей вдове немного нужно было прибавить: она еще крепко была заряжена. Теперь, лишь только они повстречаются, огонь вспыхнет. Ты наблюдай за ходом этого дела.

— Вот этого-то я не люблю, что ты из пустяков разоряешь спокойствие этой бедной вдовы, которая хотела всегда остаться верною своему покойнику, — сказал я с досадою. — Эта женщина под моим покровительством. Я дал слово Ивану Ивановичу беречь ее добродетель.

— Чурка! Чурочка! — воскликнул черт, бросаясь мне на шею. — Не сердись, мой Чурка! Я тебя смерть люблю! Я задушу тебя на

своём сердце. Так и быть, дело сделано. Увидишь, будем смеяться. Что тебе за надобность до этого мертвеца? Посмотри, он пришел сюда влюбленным в свою вдову, а уйдет без ума от этой старой кости. Таковы, мой друг, люди при жизни и по смерти.

— В этом он не виноват. Ведь ты сам напроказничал?

— Что ж делать, мой любезный! Люди ничего не смыслят без черта. Мы им необходимое воздуха. Но пора отправить этих господ на кладбище. Неравно вдруг зазвонят в колокола, так мне придется просидеть весь день в этой трубе. А я сегодня должен непременно быть еще в Париже и в Лондоне: без меня там нет порядка...

Он потащил меня к столику и напомнил мертвецам, что скоро начнет светать. Они торопливо вскочили со стульев и простились с нами.

— Как же теперь быть? — сказала она ему, останавливаясь у дверей при выходе из залы. — Иван Иванович!.. ты, батюшка, меня обидел: оторвал у меня челюсть и ногу...

— Виноват! Простите великодушно!

— То-то и есть, отец мой. Челюсть-то я нашла в одной яме, а ноги нет как нет. Мне стыдно теперь явиться на кладбище без ноги. В полночь народу тьма высыпало из гробов прогуливаться по кладбищу, а я, по твоей милости, должна была прятаться: все смеялись надо мною! Куда ты девал мою ногу?

— Найдем, матушка Акулина Викентьевна, вашу прелестную ножку. Вы напрасно изволили погорячиться. Я знаю место, куда ее бросил.

Они ушли. Мы побежали к окну, чтобы еще раз взглянуть на них, и увидели, что наш мертвец услужливо подал руку своей мертвечихе и что они дружно поплелись восвояси по тротуару, прижимаясь один к другому. Мы расхохотались. Бубантес, с радости, перекувыркнулся три раза на полу.

Отошед шагов двести, они еще остановились для сообщения друг другу нежного поцелуя — потому что Акулина Викентьевна должна была при этой операции держать обеими руками нижнюю челюсть под верхней.

Мы стали хохотать пуще прежнего.

— Жаль, — сказал черт, — что ты не про-

сил его навещать тебя почаще. Любопытно было бы знать ход этого кладбищенского романа.

— Что тут любопытного! — возразил я. — Лягут в могилу, да и будут целоваться.

— Нет, не говори этого! — сказал он. — Очень любопытно! Это летучее пламя одарено удивительными, очень разнообразными свойствами. Оно производит, между прочим, странный род опьянения. Стоит только соединить его с телом, тогда оно, само, без содействия черта, произведет в нем ряд глупостей и приключений, которых наперед и предвидеть невозможно. Знаешь ли, Чурка: сделай мне дружбу... я чрезвычайно занят!.. поди ты, так, дня через три, на кладбище да узнай, что там делается. Я бы тебя не беспокоил: о, я сам пошел бы!.. да, видишь, мне как-то неловко ходить туда. Поверь мне, друг мой, что я не люблю употреблять во зло время моих приятелей... право, я сам пошел бы; я пойду, если ты хочешь... Ты понимаешь, что это не по лени, не по чему-либо другому прочему...

— А потому, — подхватил я, смеясь его уверткам, — что там много крестов. Пони-

маю!

— Ну да! — сказал он, потупив взоры. — С тобой нечего секретничать. Ты все понимаешь.

Он бросился целовать меня.

— Прощай, мой Чурка! — сказал он. — Прощай, старый дружище! Я бегу в Париж и на днях буду опять к тебе. Ты мне все расскажешь о мертвеце и об его вдове. Прощай! прощай!..

И он исчез. Я принялся тушить свечи.

Скоро наступил день, люди — начали вставать. Несмотря на удовольствие, которое приносили мне воспоминания о ночи, проведенной так весело, как давно уже не проводил, я был беспокоен и почти печален. Проказы Бубантеса могли иметь неприятные последствия для молодой вдовы, которую я любил, как родную дочь. И, к несчастью, я не мог поспособить им!.. Мне хотелось, по крайней мере, облегчить сердце наблюдением любопытных действий электромагнитности, которою он зарядил мою хозяйку и нашего соседа Аграфова — Алексея Петровича Я вошел в ее комнату. Она еще спала. Я отправился к Аграфову,

который вставал рано.

Алексей Петрович был красен, глаза у него пылали, из зрачков били жгучие светистые лучи, которыми он так и пронзал свою супругу. Он ловил ее и, поймав, осыпал страстными поцелуями. Он клялся, что любит, обожает свою жену. Заряд уж, видно, был очень силен.

Жена, которая давно выстреляла свою любовь и в которую черт не подсыпал пороху, имела бледное лицо и глаза безжизненные. Прежде я знавал ее розовой и особенно удивлялся блеску ее глаз. Она зевала в объятиях Алексея Петровича, отворачивалась или равнодушно принимала его ласки.

Он бесился, называл ее холодной, утверждал, что она его не любит и никогда не любила.

Они побранились.

Проклятый Бубантес! он-то причиною этого недоразумения. Зачем было нарушать равновесие супружеских чувствований? Они так хорошо жили в холодном климате дружбы и взаимного уважения! Они и не думали о страсти! Упрек, которому Татьяна Лаврентьевна подверглась от внезапного взрыва нежности

в Алексее Петровиче, был несправедлив и обиден. Она его любила, но любила только мысленно. Прежде любила она его всею душою и всем телом. Но когда тела утратили в туманной атмосфере супружества весь запас того чудесного летучего вещества, которое заставляет даже два куска холодного железа привлекать друг друга и так сильно спланивать их между собою, тогда одно только воображение связывало супругов, и они принимали за любовь призрак любви, носившийся в их уме. Он имел все формы и весь цвет действительности. Эти призраки любви можно назвать супружескими сновидениями, и они обманчивы, как все сновидения. Весною, когда воздух палит тонким и жгучим началом любви, когда оно проникает всю природу, заставляя птичек петь оды, львов реветь в пустыне, почки дерев и растений радостно вскрывать свои сокровища призматических цветов и убирать ими свои стебли, — весною и Татьяна Лаврентьевна с Алексеем Петровичем бывали довольно хорошо наэлектризованы: и они поют, и они цветут, становятся розовы и красивы, привлекают и сердечно лю-

бят друг друга. Но теперь была осень — все отцвело, отпело, отревело, воздух потерял свою волшебную силу: с какой же стати Татьяне Лаврентьевне было пылать любовью! Привыкнув устремлять к мужу все свои мысли, сосредоточивать в нем все свои надежды, она любила его умом — как любят в супружестве осень и зимою. Алексей Петрович, которого черт накатил вдруг положительной любовью или электромагнитностью, не хотел понять этого, и у них вышла ужасная ссора, но я, по долгу домового, не смею пересказывать ее подробно.

Алексей Петрович был так сердит, что я удрал от них в спальню своей хозяйки.

Она одевалась перед зеркалом или, точнее, стояла в рубашке и любовалась своей красотой. Я никогда не видел ее столь прелестною. Цвет ее лица дышал необыкновенною свежестью; глаза мерцали, как бриллианты; она совершенно походила на молодую розу, которая раскрылась ночью и при первых лучах солнца лелеет на своих нежных листочках две крупные капли росы, в которых играет юный свет утра, упоенного девственным ее запа-

хом. Мне казалось, что моя хозяйка тоже издавала весенний ароматический запах. Может статься, мне только так казалось. Но то верно, что она, легши вчера спать торжественно влюбленною в покойного мужа, встала сегодня полною других чувствований и об нем не думала. Люди смеются над вдовами, которые обнаруживают неутешную печаль по своим мужьях, обрекают себя на вечный плач на их гробницах и потом вдруг выходят замуж: я не понимаю, что в этом может быть смешного! Чем виноваты вдовы, когда любовь зависит от воздуха. У людей нет толку ни на копейку. Притом же в самую безутешную вдову черт может вдруг подлить ночью этой летучей жидкости, как в Лизавету Александровну! Вчера она даже не помнила о своей красоте; теперь, прямо с постели, невольно побежала к зеркалу. Теперь она была беспокойна и скучна. Легкие вздохи вырывались порою из ее прекрасной груди, которую она тщательно прикрывала рубашкою от любопытства собственных взоров. Прежде она этого не делала. Это пробуждение тревожной стыдливости должно быть также следствие

свойств отрицательной электромагнитности. Я сам примечал, что женщины становятся стыдливее весною. Но возвращаясь к легким вздохам — они очевидно не относились к Ивану Ивановичу. Они ни к кому не относились. Скука и томное чувство одиночества, в котором она не признавалась даже перед собою, производили в ней это неопределенное волнение. Вскоре она занялась своим туалетом и нарядилась с необыкновенным вкусом — в первый раз со смерти мужа — в той мысли, что неравно кто заедет.

— Ах, как скучно! Если б кто-нибудь заехал ко мне сегодня!.. — сказала она про себя, когда я уходил к себе за печку.

— Лишь бы этот кто-нибудь не был наэлектризован положительно, — сказал я, тоже про себя. — Иначе ты пропала, бедняжка!..

Но несчастье этой доброй женщины было решено.

Алексей Петрович, поссорившись с супругою, скучал ужасно в своем кабинете и вспомнил, что в том же доме живет милая и прелестная женщина, жена покойного его друга. От тотчас оделся, причесался с большим тща-

нием, взял белые перчатки — чего никогда не делал поутру — и отправился к ней с визитом, надеясь рассеять свое супружеское горе в ее сообществе. Он забыл, что прежде находил мою хозяйку очень скучною за ее сентиментальность к покойнику и называл «эфесскою матроною»[18]: летучий огонь подавлял в нем всякое рассуждение, он теперь помнил только о красивом личике Лизаветы Александровны.

Как скоро он вошел в залу, я затрепетал за печкой. Мне казалось, что вижу дракона, который приходит пожрать мою розовую вдову. Я проклял Бубантеса. Но этот плут давно уже не боится проклятий!

Любопытство заставило меня прокрасться в гостиную, чтоб быть свидетелем их встречи. Для большего удобства наблюдений я влез в печь и смотрел на них в полукружье, находящееся в заслонке.

Лизавета Александровна задрожала всем телом, услышав издали только голос мужчины. Но она скоро опомнилась, подавила свое волнение, вышла к гостю совершенно спокойно и приняла его с обыкновенною привет-

ливостью. Они разговаривали несколько времени, не глядя в лицо друг другу. Но вскоре, по случаю приветствия, которое сделал Аграфов насчет ее наряда, взоры их встретились, и я видел, как тонкие светистые лучи того же самого пламени, которое нам показывал Бубантес, перелетели из одних глаз в другие и слились. Несколько мгновений явственно видны были две огненные черты, протянутые между их противоположными зрачками. Они почувствовали род электрического удара, который обличился их смущением. Ни он, ни она не выдержали действия этих пронзительных лучей, потупили взоры и покраснели. С той минуты они как будто боялись друг друга, были весьма осторожны в речах, старались быть веселыми, болтать, шутить, но это им не удавалось. Они решились взглянуться еще раз и, к обоюдному удивлению, не почувствовали того потрясения, как прежде. Это их ободрило. Они начали болтать и смеяться. Я ушел. Нечего было смотреть более. Искры заброшены, и пожар в телах был неизбежен. Держись, брат ум!.. Или лучше спасайся заранее.

Они долго смеялись в гостиной, что весьма естественно. То самое тайное воздушное пламя, которое в образе молнии раздробляет дуб и превращает дома в пепел, которое в магните сцепляет два куска мертвого минерала, в живых существах связывает двое уст краснокаленным поцелуем — то самое пламя делает человека остроумным в первые минуты любовного опьянения. Впрочем, кислотвор[19] производит то же действие. Рецепт для остроумия: возьми большой стеклянный колокол, посади под него глупца и нагони в воздух, заключенный в колоколе, лишнюю пропорцию кислотвора — глупец станет отпускать удивительные остроуты. Я сам видел этот опыт, когда жил в Стокгольме за печкой у одного хи-мика, и с тех пор гнушаюсь всяким остроумием. Производство его ничуть не мудренее приготовления газового лимонада и искусственной зельтерской воды. Вот почему я ушел к себе за печку, как скоро Лизавета Александровна и Алексей Петрович начали остриться.

Со всем тем я не отвергаю, что весьма было бы полезно посадить под такой колокол

иную литературу и целый город, в котором есть много типографий.

Они расстались восхищенные друг другом и обещав видаться чаще прежнего.

Лиза — так буду называть ее, потому что я очень любил мою бедную хозяйку — находила, вышивая вензель своего покойного мужа, что у Аграфова глаза прекрасные. Что касается до Аграфова, то он не скрывал от себя того факта, что моя хозяйка восхитительна с головы до ножки, и потому, возвратясь домой, наговорил своей жене тысячу милых приветствий.

Аграфов был недурен собою, но я никогда не одобрял его носа; хорошо воспитан и еще довольно молод. Он с успехом занимался искусствами, особенно живописью, и я помню, что у него был отличный погреб, из которого я вытаскал пропасть бутылок старого вина и ликеров — за что, разумеется, невинно страдали лакеи. Этот человек не верил в домовых! И я любил его за это, хотя ненавидел за все прочее — право, не знаю за что — так! — за то, что он мне не нравился. Но Лиза решительно стала находить его очень любезным.

По временам она содрогалась при этой мысли, которую считала преступною: тогда поспешно брала она книгу и читала скоро, чтобы забыть его. Прочитав несколько страниц, несчастная Лиза была уверена, что она совершенно к нему равнодушна.

Я уже предвидел ужасную борьбу души с телом в этой добродетельной женщине. О, если б победа осталась на стороне духа!

Аграфов, день ото дня более влюбленный, окружал ее всеми прельщениями, и она беззаботно брела в них, не примечая пропасти. Маленькие услуги, тонкие доказательства уважения, помощь в делах — ничто не было забыто. Соседство скоро превратилось в дружбу. Аграфов убедил свою жену сблизиться с вдовою своего приятеля, и с некоторого времени они были неразлучны. Эта дружба опечалила меня всего более. Знаю я эти дружбы! Я сиживал в запечках всех веков и народов, от римлян до северных американцев, и везде видел одинаковые следствия дружбы женщин, которая заводилась по убеждению мужа одной из них. Таков закон природы.

Лиза прелестно наряжалась и часто впада-

ла в глубокую задумчивость.

Я сидел ночью на своем любимом диване, погруженный в прискорбные размышления о перемене, которая в течение десяти или одиннадцати дней произошла в этом доме, как вдруг увидел перед собою Бубантеса. Он стоял, подбоченясь, в двух шагах от меня и смеялся своим чертовским смехом.

— Что это, Чурка? — вскричал он. — Ты даже не видел, как я пришел сюда! Ты печален?

— Пропади ты, проказник! — сказал я. — Посмотри, что ты наделал! Ты испортил мою добрую хозяйку. Это проклятое пламя, которое ты прилил в нее, делает в ней ужасные опустошения.

— Да! — отвечал он, — кровь — удивительно горючее вещество.

Я побранил Бубантеса за его неуместные шуточки, но он расцеловал меня, засыпал уверениями в своей дружбе, наговорил мне столько приятного и умного, что я не в силах был на него гневаться. Признаюсь, у меня есть слабость к этому черту!

Мы уселись рядком. Он стал описывать мне свои подвиги в Париже и Лондоне, все

свои журнальные и газетные плутни, и если не лгал, позволительно было заключить из его успехов, что люди — большие ослы!

— Ну, расскажи мне теперь, — прибавил он, — что тут делается.

Я рассказал. Слушая меня, он прыгал от радости, потирал руки и приговаривал: «Хорошо! Очень хорошо! Славно, мой Чурило!» Но когда я окончил, он замолк, призадумался и принял такой печальный вид, что я, глядя на него, заплакал.

— Что с тобой, мой друг? — вскричал я, умильно взяв его за рога и целуя его в голову, которую орошал теплыми слезами. — Скажи, милый Бубашка, что с тобою? Ты несчастен?

— Да! — сказал он, но сказал таким жалким голосом, что у меня разорвалось сердце. — Подумай только сам: что ж из этого выйдет? Они любят друг друга, и все тут. Это может кончиться только самым пошлым образом — как в новом французском романе, — тем более что она вдова и свободна. Так что ж это за история? Неужли мы с тобою трудились для такого ничтожного результата?

— Чего ж ты от меня хочешь, мой друг? —

спросил я. — Все для тебя сделаю! Только не печалься.

— Вот видишь, Чурка, — сказал он, — это дело нейдет назад. Тут нужно подбавить сильных ощущений, великих чувствований, больших несчастий: тогда только можно будет смеяться. Надобно, во-первых, чтобы какой-нибудь благородный юноша влюбился в твою вдову. Я об этом подумаю. Теперь я очень занят журналами. А между тем не худо было бы возбудить ревность в жене Аграфова. Это необходимо для занимательности. Скажи мне, что он делает? Не пишет ли стихов к твоей хозяйке? писем?

— Нет, — сказал я, — он тайно от нее и от жены пишет ее портрет в своем кабинете.

— Ах, вот это хорошо! — воскликнул Бубантес, вспрыгнув от восторга.— Ты знаешь, где он прячет свою работу?

— Знаю. В конторке, между бумагами.

— Пойдем к ним. Надобно перевести этот портрет в туалет жены.

— Да это не годится!.. Оно как-то будет неестественно.

— Предоставь мне. Я сделаю его естествен-

ным. Люди верят не таким небылицам. Пойдем, пойдем!

Проклятый Бубантес опять соблазнил меня!

Мы пошли на половину Аграфовых. Я повел Бубантеса в кабинет мужа, показал ему конторку и по его приказанию вытащил миньютюру в замочную скважинку. Он положил ее на ладонь и начал всматриваться.

— Похожа! — сказал он. — У него есть талант. Я бы хотел, чтоб он когда-нибудь написал мой портрет.

Он взял меня об руку, и мы отправились из кабинета в спальню. Мы остановились подле кровати Аграфовых; черт, по своему обычаю, принялся делать разные замечания о спящих супругах; мы болтали и смеялись минут десять; наконец, он вспомнил о деле и повернулся к туалету. Он выдвинул один ящик, только что хотел положить портрет на бумаги, и вдруг опрокинулся наземь, испустив пронзительный стон. Я отскочил в испуге и увидел, что подле нас стоит дюжий, пенящийся от ярости черт с огромными золотыми рогами. То был Фифи-коко, сам главноуправ-

ляющий супружескими делами! Он откуда-то увидал Бубантеса в спальне Аграфовых, влетел нечаянно и боднул его из всей силы в бок рогами в то самое время, как мой приятель протягивал руку к ящику.

— Ах ты, мерзавец! — закричал Фифи-коко лежавшему на земле черту журналистики, — что ты тут делаешь? как ты смеешь распоряжаться по моему ведомству?

Бубантес схватился за бок и быстро вскочил на ноги, отступил к двери и остановился. Тут он заложил руки назад и, глядя на Фифи-коко с неподражаемым видом плутовства, равнодушия и невинности, возразил:

— Ты, любезный мой, бодаешься, как старый бык. Знаешь ли, что это признак очень дурного воспитания?

— Молчи, леший! — гневно сказал Фифи-коко. — Я хочу знать, кто тебе дал право искушать людей по моей части и зачем вмешался ты в дела этих почтенных супругов?

— Ну что ж такое? — отвечал Бубантес с презабавною беззаботливостью. — Велика беда! Я хотел сделать повесть для журнала. Не хочешь, как тебе угодно! Для меня все равно.

— Я сам поведу это дело, — сказал Фифи-коко.

— Изволь, изволь, почтеннейший! у меня есть свои занятия, важнее и полезнее этих мерзостей, — отвечал Бубантес и утащил меня из спальни.

— Экой мошенник! — вскричал Фифи-коко, подымая портрет Лизы с земли. — Чуть-чуть не поспорил супругов из-за безделицы!..

Бубантес воротился.

— Имея честь всегда обращаться с супругами, — сказал он ему, — ты, брат, выучился ругаться, как сапожник.

— Смотри ты своих журналистов, — отвечал ему Фифи-коко, — они ругаются хуже супругов.

— Пойдем, — сказал мне Бубантес. — С ним нечего толковать. Я бы его отделал по-своему, да он теперь в милости у Сатаны. Этот осел изгадил все дело. А жаль!

Мы вышли на крыльцо. Он простился со мною и полетел прямо во Францию.

.....
.....

Примечания

1

Согласно народным поверьям, домашние духи (домовые) живут близ печи или на печи.

[^^^]

2

Гомеопатия, принципы которой были разработаны на рубеже XVIII-XIX вв. немецким врачом С.Ганеманом, была в те годы новым и модным увлечением. С сентября 1833 г. врачам-гомеопатам высочайшим повелением было дозволено свободно проводить в России лечение по их системе.

[^^^]

3

Термин «аллопатия» был предложен Ганеманом для обозначения негомеопатических методов лечения.

[^^^]

4

Силери (силлери) – сорт шампанского.

[^^^]

5

Яков II (1633-1701) – король Великобритании с 1685 по 1688 г., ревностный католик. Вероятно, упомянутый анекдот возник в среде его религиозных и политических противников.

[^^^]

6

См. «Гамлет» У.Шекспира (акт III, сцена 1).

[^^^]

7

Возможно, может быть (англ.).

[^^^]

Согласно популярному тогда учению австрийского врача Ф.А.Месмера (1733-1815), в природе существует особая жизненная сила («животный магнетизм»), посредством которой живые существа воздействуют друг на друга на расстоянии, причем магнетизер имеет порабощающее влияние на личность магнетизируемого.

[^^^]

9

Это должна быть метафора. У мертвеца, кажется, не было уст. (*прим. автора*)

[^^^]

Имеется в виду герой комедии Ж.Б.Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670) Журден (д.2, явл.6)

[^^^]

Иронический намек на распространенную трактовку темы любви и смерти, представленную, например, стихотворением К.Н.Батюшкова «Привидение» (1810).

[^^^]

Аддисон Джорж (1672-1719) – английский писатель и журналист.

[^^^]

Монблан – покрытая льдом горная вершина в Западных Альпах.

[^^^]

Этна – действующий вулкан на острове Сицилия.

[^^^]

15

Бостон – карточная игра с четырьмя участниками, получающими по 13 карт; открытой картой определяется козырная масть (сюры).

[^^^]

16

...объявила восемь в сюрсах... - т.е. о намерении
взять восемь взяток козырной масти.

[^^^]

...сказал: «*Вист!*» - т.е. объявил о своем намерении играть заодно с партнершей.

[^^^]

Эфесская матрона – героиня романа древнеримского писателя Гая Петрония (ум.66) «Сатирикон», безутешная вдова. В этом смысле она и упоминается в комментируемом тексте. Однако у Петрония героиня в итоге все же изменяет покойнику, что тоже существенное для повести Сенковского.

[^^^]

Кислород.

[^^^]